

НИКИТА ЧЕРЕПАНОВ

УЗАРРАТ



Никита Черепанов

"Узарат"

<https://litres.ru/74025566>

SelfPub; 2026

Аннотация

Рукопись была обнаружена в запертой комнате после смерти владельца. Элиас Стоун, американский путешественник, скончался в 1941 году в Нью-Йорке. Причина смерти официально не установлена.

Рукопись написана незадолго до смерти. Предположительно — в последние несколько дней.

Двух пальцев на левой руке у него не было. Официальная причина — крокодил.

Публикуется без изменений.

Содержание

Рукопись Элиаса Стоуна	4
Конец ознакомительного фрагмента.	27

"Узарат"

Рукопись Элиаса Стоуна

Мне осталось немного.

Поэтому я наконец могу.

Не потому, что стал храбрее. Нет. Храбрость — слово для молодых, для тех, кто ещё верит, будто человек распоряжается собственной душой так же свободно, как рукой, деньгами или дорожным сундуком. Я прожил достаточно долго, чтобы знать: человек распоряжается только тем, что ещё не успело испугать его по-настоящему.

Сорок лет я молчал.

Сорок лет я лгал друзьям, врачам, кредиторам, случайным знакомым, газетчикам, однажды — священнику, хотя никогда не считал себя верующим человеком. Я говорил, что пустыня почти убила меня. Что я заблудился. Что потерял верблюда, воду, часть записей и несколько дней памяти. Я говорил это так часто, что временами сам почти мог принять ложь за истину.

Почти.

Но ложь не снится каждую ночь.

Ложь не стоит в углу комнаты, когда лампа уже погашена, а старые трубы в стенах стучат от холода. Ложь не шепчет

из трещин в штукатурке сухим, песчаным голосом. Ложь не оставляет на внутренней стороне век знак, который ты не рисовал, не учил, не видел ни в одной книге — и всё же узнаёшь его раньше, чем успеваешь понять.

Я пишу это в комнате, где пахнет лекарством, пылью и старой бумагой. За окном Нью-Йорк шумит так же равнодушно, как шумел всегда: колёса, голоса, гудки, шаги по мокрому камню. Там люди торопятся по своим делам, покупают хлеб, ругаются из-за мелочей, считают деньги, ждут писем, боятся болезней, старости, одиночества. Они правы, что боятся. Но они ещё не знают, как милосердны обычные страхи.

Я завидую им.

Моя рука дрожит. Чернила ложатся неровно. Иногда перо царапает бумагу так громко, что я поднимаю голову и слушаю, не ответил ли кто-нибудь из темноты. Это смешно. В доме никого нет. Уже много лет никого нет. Люди перестали задерживаться рядом со мной задолго до того, как я стал стариком. Сначала им было трудно выносить мои молчания. Потом — мои взгляды. Потом — запах запертой комнаты, в которой слишком долго живёт человек, не открывающий шторы днём.

Но одиночество всё же лучше свидетелей.

Если эти страницы когда-нибудь найдут, я прошу — нет, не прошу. Просьбы предполагают надежду, а я слишком стар для неё. Я оставляю предупреждение.

Не ищите подтверждений.

Не сверяйте мои записи с картами.

Не пытайтесь установить маршрут, по которому я шёл летом 1900 года.

Не произносите вслух имя, которое появится далее.

И если на полях этой рукописи вы заметите знак, которого, как вам покажется, не было минуту назад, закройте книгу. Сожгите её. Или выбросьте в воду. Лучше всего — не открывайте вовсе.

Хотя, если вы уже читаете эти строки, значит, поздно давать вам этот совет.

Я был моложе, когда всё началось. Моложе, глупее и, что хуже всего, честнее. В ту пору я ещё верил, что истина сама по себе достойна любой цены. Я называл себя путешественником, хотя это было слишком мягкое слово. Путешественники ищут дороги, виды, впечатления. Я искал следы. Обломки исчезнувших народов. Знаки древних культов. Языки, которые умирали во рту последнего старика. Предания, над которыми смеялись чиновники и миссионеры, но которые почему-то переживали их всех.

Моё семейство в Бостоне считало это прихотью богатого сына. Возможно, сначала так оно и было. Отец оставил мне достаточно денег, чтобы я мог позволить себе не быть полезным. Мать умерла рано; её я помню больше по запаху духов и по тонким пальцам, чем по лицу. Дом наш был полон книг, тяжёлой мебели и сдержанных разговоров. В нём всё было

устроено так, чтобы человек не задавал лишних вопросов. Я же, к несчастью, с детства любил именно лишние.

К тридцати годам я успел побывать там, где благообразный американец должен был бы заболеть, умереть или хотя бы раскаяться. Я видел верховья рек, которые на картах были проведены нетвёрдой рукой. Я ел с людьми, чьих имён не мог правильно произнести. Я слушал песни, в которых смерть называли не концом, а возвращением долга. Я записывал всё: слова, жесты, формы ножей, способы хоронить детей, узоры на коже, запреты у колодцев, имена богов, которых сами жрецы произносили шёпотом.

Три года я провёл в Центральной Африке.

Эти три года сделали мне имя среди тех немногих, кто следил за подобными вещами. Несколько богатых людей в Нью-Йорке и Лондоне охотно платили за мои дороги, если в конце получали ящики с предметами, записные книжки и отчёты, где каждое наблюдение было разложено аккуратно, без восторженности и суеверного тумана. Они любили открытия, если открытия можно было поставить под стекло, описать латинским термином и показать гостям после ужина.

Я тоже любил открытия.

Именно это меня погубило.

В июне 1900 года, за несколько недель до моего возвращения к побережью, я услышал рассказ о городе в пустыне.

Не сразу. Такие вещи редко говорят прямо. Сперва было

молчание. Потом взгляд, задержавшийся чуть дольше обычного. Потом старик, который перестал жевать, когда я спросил о северо-восточных землях. Потом мальчик, плюнувший в пыль после одного случайного слова, будто избавлялся от дурного вкуса.

Я находился тогда среди людей, чьё название не стану записывать. Не из уважения к тайне — хотя, быть может, и из него тоже. Просто я не хочу оставлять ещё одну нить.

Их селение стояло у края земли, где трава уже не решалась быть травой, а песок ещё не полностью становился пустыней. Низкие хижины из глины и сухого тростника жались к редким деревьям. Козы ходили между очагами с видом существ, давно понявших бессмысленность человеческих дел. Женщины мололи зерно, не поднимая глаз. Дети смотрели на меня так пристально, как смотрят только дети и умирающие.

Вечером ко мне подошёл человек по имени Мбала.

Он несколько раз служил мне проводником, хотя никогда не заходил далеко от своих земель. Мбала был сух, жилист, немногословен и обладал тем видом терпения, который у белых людей обычно ошибочно принимают за покорность. Он не был покорным. Он просто не тратил слов там, где слово не меняло дороги.

В тот вечер он сел напротив моего костра и долго молчал.

Я чистил перо. На коленях у меня лежала записная книжка. Воздух был неподвижен, и дым поднимался почти пря-

мо, тонкой серой жилой. Где-то в темноте плакал ребёнок. Дальше, за последними хижинами, начиналась пустота.

— Ты уходишь, — сказал Мбала.

— Через два дня, — ответил я. — Если люди дадут мне ещё воды.

Он посмотрел не на меня, а туда, где песок ночью казался не светлее земли, а темнее неба.

— Не туда.

Я улыбнулся. Тогда я ещё улыбался, когда слышал предостережения.

— Мне говорили, что на северо-востоке есть старые камни.

Мбала не ответил.

— Развалины? — спросил я. — Могилы? Святилище?

Он медленно повернул ко мне лицо. В свете костра его глаза казались сухими и неподвижными.

— Город.

Я перестал чистить перо.

Слово было сказано тихо. Но после него даже ребёнок в темноте замолчал.

Когда три года живёшь среди людей, чьи обычаи сперва кажутся тебе не просто чужими, а почти невозможными, ты понемногу перестаёшь доверять собственному первому взгляду. Сначала я записывал только слова. Потом — жесты. Потом — паузы между словами. Потом стал замечать, как человек отводит глаза перед именем мёртвого, как женщина

касается пальцами земли, услышав название запретного места, как старик меняет дыхание, прежде чем солгать.

Я не стал одним из них. Это было бы самонадеянной глупостью. Белый человек, проживший год или три среди чужого народа, всё равно остаётся гостем, даже если ест их пищу, знает их тропы и умеет различать двадцать оттенков одного страха.

Но кое-что я начал понимать.

И потому, когда Мбала произнёс слово «город», я услышал не только слово.

Я услышал то, что стояло за ним.

Город, подумал я тогда.

В этом слове было всё, ради чего я провёл лучшие годы жизни в грязи, жаре, болезнях и одиночестве. Не деревня. Не развалины. Не святилище у высохшего русла. Город. След цивилизации, о которой не знали ни мои спонсоры, ни университетские общества, ни самоуверенные господа, сидевшие за столами с картами и полагавшие, будто мир уже почти измерен.

Теперь, вспоминая тот вечер, я понимаю: остановить меня не могло ничто.

Даже страх Мбалы.

Я стал расспрашивать его осторожно, хотя во мне уже поднялось то холодное возбуждение, которое предшествует открытию. Я знал это чувство. Оно всегда начиналось под рёбрами, тихо, почти беззвучно, как если бы где-то внутри от-

крывали запертую дверь.

— Как называется этот город? — спросил я.

Мбала долго молчал.

Костёр между нами потрескивал, выбрасывая короткие искры. За кругом света стояли люди. Я не сразу понял, что они перестали заниматься своими делами. Никто не подошёл ближе. Никто не ушёл. Они просто слушали.

— Имя ушло, — сказал Мбала.

— Ушло куда?

Он посмотрел на меня исподлобья. Веки его были тяжёлыми, будто он не спал несколько ночей, но взгляд оставался неподвижным и сухим.

— С губ. С камней. Из песен.

Я записал это почти машинально.

«Имя ушло с губ, с камней, из песен».

Тогда фраза показалась мне красивым местным образом. Теперь я не уверен, что это был образ.

При дальнейшем расспросе я узнал немного. Или, вернее, многое, но всё это было из той области, которую я тогда привычно относил к суевериям. Тысячи лет назад, говорил Мбала, на востоке стоял город. Он был старше племён, старше царей, старше дорог, которыми теперь ходили люди. Его построили не предки Мбалы. Не предки соседних народов. Не те, чьи имена ещё можно было выговорить.

— Кто же? — спросил я.

Мбала не ответил.

Он взял сухую ветку и провёл ею по пыли между нами. Я ожидал увидеть знак, карту, направление. Но он просто начертил круг, потом второй внутри первого, потом третий, всё уже и уже, пока линия не свернулась в неровную спираль.

После этого он быстро стёр её ладонью.

Слишком быстро.

— Город ушёл вниз, — сказал он.

— Был разрушен землетрясением?

— Ушёл вниз.

— Провалился?

Мбала поднял глаза.

— В место под местом.

Один из мужчин за моей спиной что-то тихо сказал. Я не понял слов, но понял интонацию. Его оборвали сразу, резко, почти зло.

— В ад? — спросил я.

Не знаю, почему я сказал это. Возможно, хотел упростить услышанное до понятия, знакомого европейскому разуму. Возможно, просто испытывал Мбалу. В те годы я ещё любил испытывать чужой страх вопросами.

Он не ответил сразу.

Потом сказал:

— У вас есть слово. Пусть будет оно.

Я помню, что в этот миг мне стало холодно.

Ночь была жаркой. Воздух стоял неподвижно. Пот стекал у меня по шее под воротник рубашки. И всё же на короткое

мгновение кожа на руках стянулась, будто я вошёл в тень глубокого колодца.

Я не был суеверным человеком. Всю жизнь я презирал лёгкие объяснения, которыми люди прикрывают незнание. Духи, проклятия, гнев мёртвых, голоса земли — всё это, как я полагал, при должном терпении можно было разложить на страх, память, обычай, болезнь, ошибку зрения или выгоду жреца.

Но тогда, слушая Мбалу, я впервые за долгое время позволил себе поверить ему не как источнику легенды, а как свидетелю чего-то, чего он сам не желал знать.

Он никогда прежде не говорил так.

За год, проведённый рядом со мной, Мбала видел смерть, голод, лихорадку, кровь, видел людей с ружьями и людей с копьями, видел, как человеческая гордость ломается от жажды быстрее, чем от угроз. Он был осторожен, но не труслив. Молчалив, но не покорен. В нём было то суровое спокойствие, которое рождается у человека, привыкшего жить рядом с опасностью, не делая из неё зрелища.

Только однажды я видел его похожим на того, кем он стал у костра.

Это случилось семью месяцами раньше, на северо-востоке, когда я настоял, чтобы он провёл меня к одному племени, о котором соседние народы говорили неохотно и всегда после захода солнца. Их называли людоедами. Тогда я ещё считал это, по меньшей мере, преувеличением. У каждого наро-

да есть враги, и врагов всегда проще представить не людьми, а зверями.

Но слухи оказались не совсем ложью.

Мы не вошли в их селение. Нас остановили на каменистом склоне, где сухие деревья росли из земли под такими углами, словно тянулись прочь от корней. Мужчины вышли молча. Они были почти нагими, обмазанные серой глиной, с костяными кольцами в ушах и узкими рубцами на груди. Один держал копье с наконечником из тёмного металла, которого я не смог определить. Другой нёс на поясе связку маленьких костей. Я тогда записал, что это, вероятно, кости обезьян.

Теперь я не столь уверен.

Переговоры длились недолго. Я не понимал их языка, а Мбала говорил мало и глухо, выбирая слова так, будто каждое могло сорваться в пропасть. Несколько раз мужчины смеялись. Один из них подошёл ближе и коснулся моего рукава. Не грубо. Почти с любопытством. Потом провёл пальцем по своей шее.

Там я впервые увидел спираль.

Не нарисованную. Не выколотую краской. Не выжженную одним знаком.

Она была сделана из шрамов.

Сотни мелких, тонких рубцов сходились на коже его горла, образуя неровный завиток. Старые шрамы были белыми. Новые — розовыми, вздутыми, местами ещё блестящими. Линия спирали будто не лежала на коже, а росла из неё, уxo-

дила под подбородок, терялась за ухом и снова появлялась у ключицы.

Я спросил потом Мбалу, что означает этот знак.

Он сказал:

— Не спрашивай.

Я, разумеется, спросил снова.

Тогда он посмотрел на меня так, как смотрел теперь у костра, когда говорил о городе, ушедшем вниз.

— Некоторые знаки не носят, — сказал он. — Им дают место.

Тогда я не понял.

Я записал эту фразу, поставил рядом вопросительный знак и оставил место для дальнейших заметок.

Дальнейших заметок не последовало.

В тот день мы ушли живыми лишь потому, что Мбала отдал им мой нож, две жестяные коробки с солью и маленькое зеркальце в латунной оправе. Один из молодых воинов хотел большего. Его рука легла на копье, и на мгновение я увидел, как все вокруг нас перестали быть людьми, ведущими переговоры, и стали телами, готовыми к резкому движению.

Потом старший сказал одно слово.

Молодой отступил.

Мы ушли спиной вперёд до первого поворота тропы. Только там Мбала позволил мне обернуться.

— Больше не проси меня вести тебя к ним, — сказал он.

— Почему?

Он долго шёл молча.

Потом ответил:

— Они помнят то, что другие забыли.

В тот вечер, спустя семь месяцев, у края пустыни, я вспомнил эту фразу. Вспомнил шрамы на шее в форме спирали. Вспомнил, как быстро Мбала стёр знак из пыли.

И всё равно спросил:

— Ты можешь показать мне дорогу?

Впервые за всё время нашего знакомства он не стал скрывать презрения.

— Дорогу туда не показывают.

— Значит, она есть.

Он сжал челюсти. В свете костра его лицо вдруг показалось мне старше.

— Есть места, куда человек приходит сам, если в нём уже есть то, что их зовёт.

Я рассмеялся бы, если бы рядом не стояла такая тишина.

— Я заплачу, — сказал я.

Мбала покачал головой.

— Не мне ты заплатишь.

После этих слов он поднялся.

Я тоже встал. Мне не хотелось заканчивать разговор. Во мне уже работало упрямство, то самое, которое раньше помогало мне переходить реки, договариваться с вождями, переживать лихорадку и не бросать записи даже тогда, когда пальцы дрожали от слабости.

— Завтра, — сказал я. — Мы продолжим завтра.

Мбала посмотрел на меня. Не зло. Хуже — с жалостью.

— Завтра ты уже будешь думать, что сам решил идти.

Он ушёл от костра, и люди в темноте разошлись вместе с ним.

Я остался один, с записной книжкой на коленях и со стёртой спиралью в пыли между ног.

Должен признаться: в ту ночь я почти не спал.

Не от страха. Тогда я назвал бы это предвкушением.

Теперь, спустя сорок лет, когда мои пальцы едва удерживают перо, я знаю, что между предвкушением и страхом разница меньше, чем принято думать. Иногда это одно и то же чувство, только человек ещё не знает, каким именем его называть.

Наутро Мбала отказался говорить со мной.

Он сидел у стены своей хижины, чинил ремень от старой сумки и не поднимал глаз, когда я подошёл. Солнце ещё не успело стать жестоким, но воздух уже дрожал над землёй. Женщины у очагов говорили тише обычного. Дети, вчера следившие за мной с открытым любопытством, теперь прятались за матерями и выглядывали оттуда так, будто я уже перестал быть человеком и стал чем-то, что идёт через селение перед бедой.

— Мне нужен проводник, — сказал я.

Мбала затянул узел зубами.

— Нет.

— Я не прошу тебя идти до города. Только до тех мест, где начинается дорога.

Он усмехнулся без радости.

— Дорога начинается здесь.

— Тогда покажи направление.

— Ты его уже видишь.

Он кивнул туда, где за последними хижинами ровная жёлтая даль постепенно съедала кустарник и камни.

Пустыня утром казалась почти мирной. Она лежала в тонком свете, бледная, широкая, без единого движения. Ночью она была чёрным провалом, днём — пустой страницей. Я тогда ещё не знал, что пустые страницы бывают опаснее исписанных: на них легче появляется то, чего не должно быть.

— Сколько дней? — спросил я.

Мбала снова опустил глаза к ремню.

— До чего?

— До места, где город ушёл вниз.

Он долго молчал. Я подумал, что он снова откажется. Потом он сказал:

— Если идти правильно, три дня.

— А если неправильно?

— Тогда всю жизнь.

— Ты говоришь загадками.

— Ты слышишь только загадки.

Это раздражало меня. Теперь мне стыдно вспоминать это раздражение, но я пишу правду. Меня раздражала его осто-

рожность, его отказ быть полезным, его упрямая верность страху. Я видел в нём не человека, который пытается спасти меня, а препятствие между мной и открытием.

Я предложил ему деньги.

Потом ружьё.

Потом ящик тканей, который должен был уйти старейшинам за воду и припасы.

Мбала слушал, не перебивая. Когда я закончил, он наконец поднял голову.

— У тебя много вещей, Стоун. Но там они не будут твоими.

— Вещи всегда принадлежат тому, кто может их удержать.

— Нет.

Он сказал это спокойно, почти устало.

— Там вещи принадлежат тому, кто смотрит.

Я хотел спросить, что это значит, но в тот миг к нам подошёл старик по имени Ндоро. Он был одним из тех, кто накануне стоял за кругом света. Его лицо состояло из морщин, рубцов и сухой неподвижности. Он не любил меня, но терпел, потому что я платил честно и не трогал их женщин, святилища и мёртвых.

Ндоро протянул мне кожаный мешок.

— Вода, — перевёл Мбала, хотя я и сам понял.

— Сколько? — спросил я.

Старик показал три пальца.

— Три дня?

Мбала не перевёл мой вопрос. Он сказал что-то Ндоро, и тот сухо рассмеялся. Смех его был похож на шорох камешков в пустом сосуде.

— Он говорит, — произнёс Мбала, — что вода не считает дней. Она считает рот.

Я принял мешок. Он был тяжёлый, тёплый и пах животным жиром. Потом мне дали ещё один, меньший, и небольшой свёрток с сушёным мясом, корнями, жёсткими лепёшками из зерна. Я заметил, что люди передавали всё это не из рук в руки, а клали на землю передо мной. Будто боялись коснуться.

К полудню я уже решил идти.

Не «решил» в настоящем смысле. Настоящее решение предполагает возможность отказа. Я лишь позволил тому, что уже росло во мне с вечера, принять форму действия.

Мбала был прав.

Утром мне казалось, что это я сам выбрал дорогу.

Я проверил револьвер, пересчитал патроны, завернул записные книжки в промасленную ткань, распределил воду и припасы между двумя кожаными мешками и седельной сумкой. Верблюда мне дали старого, с упрямой нижней губой и глазами, в которых было больше презрения к миру, чем у многих людей. Звали его, как перевёл Мбала, Каменным. Имя подходило ему больше, чем мне тогда показалось.

Перед уходом я подошёл к Мбале ещё раз.

— Ты уверен, что не пойдёшь?

Он стоял у края селения. За его спиной собрались люди. Никто не говорил. Даже козы, казалось, перестали шевелиться в пыли.

— Я уже ходил слишком близко, — ответил он.

— Тогда скажи хотя бы, чего мне остерегаться.

Мбала посмотрел на пустыню.

— Не отвечай, если услышишь голос из-под песка.

Я усмехнулся, но он не отвёл взгляда.

— Не спи там, где камень тёплый ночью.

— Почему?

— Потому что он не камень.

Я записал бы это, если бы рука моя не была занята поводом.

— Ещё?

Он повернулся ко мне.

— Если увидишь воду до заката второго дня, не пей.

— Мираж?

— Если захочешь назвать это так, назови.

Он помолчал. Потом добавил тише:

— И если увидишь город сверху, уходи. Настоящий вход не сверху.

— Но ты сказал, что город ушёл вниз.

— Да.

— Тогда как его можно увидеть сверху?

Мбала не ответил.

Я хотел добиться объяснений, но в его лице было что-

то такое, что сделало дальнейшие вопросы неуместными. Не бессмысленными — именно неуместными, как просьба к умирающему описать вкус крови.

Я протянул ему руку.

Он посмотрел на неё, затем на меня, и после короткой паузы всё-таки пожал. Его ладонь была сухой, горячей, сильной. В последний миг он сжал мои пальцы так, что я почувствовал боль.

— Вернись, если сможешь не найти, — сказал он.

— Я вернусь, когда найду.

Мбала отпустил мою руку.

— Тогда ты не вернёшься.

Я сел на верблюда и направил его к востоку.

Никто не пошёл за мной.

Я оглянулся только раз, когда селение уже стало низкой тёмной полосой на границе травы и песка. Люди всё ещё стояли там. Они не махали. Не кричали. Не провожали меня молитвами. Они просто смотрели.

Их неподвижность раздражала меня сильнее, чем если бы они проклинали мой путь.

К вечеру селение исчезло.

В первый день пустыня ещё позволяла мне думать о себе как о человеке, который идёт к цели. Под ногами Каменного песок был плотным, местами перемешанным с гравием и обломками тёмного камня. По обе стороны тянулись низкие гряды, похожие на спины давно умерших животных. Небо

было огромным, бледным, почти белым у горизонта и жёстко-синим над головой. Солнце не светило — оно давило.

Я ехал медленно, экономя силы животного. Останавливался каждый час, делал по глотку воды, записывал направление, примерное расстояние, форму гряд, положение солнца. В записной книжке того дня ещё много аккуратных строк. Я нахожу их теперь среди старых бумаг и не узнаю человека, который их писал.

«Песок жёлто-серый. Следы ветра направлены с юга. Камни пористые, возможно вулканического происхождения. Виден ряд низких возвышенностей на востоке. Температура необычайная, но переносимая. Верблюд идёт ровно. Настроение бодрое».

Настроение бодрое.

Господи.

К закату я разбил первый лагерь у каменной плиты, торчавшей из песка под углом. Она была гладкой с одной стороны и шершавой с другой, словно её когда-то обрабатывали, а потом бросили. Я тщательно осмотрел её поверхность, надеясь найти знак руки, резца, времени. Ничего не обнаружил.

Ветер поднялся после захода солнца.

Он пришёл не сразу, а как будто из-под земли: сперва песок у моих ботинок начал шевелиться тонкими струйками, затем зашуршали мешки, потом верблюд повернул голову и недовольно фыркнул. Ночь опустилась быстро. Над пустыней появились звёзды, резкие, многочисленные, лишённые

той мягкости, которую им придаёт влажный воздух у моря. Они висели так низко, что казалось, стоит протянуть руку — и пальцы коснутся холодного стекла.

Я развёл маленький огонь из сухих корней, найденных ещё у края травы, съел немного мяса и сделал запись. Потом долго сидел, слушая ветер.

Именно тогда я впервые услышал звук, который позже стал для меня привычнее собственного дыхания.

Не шаги.

Не голос.

Шорох, почти неотличимый от движения песка, но с каким-то внутренним порядком. Он возникал справа, стихал, появлялся слева, затем за моей спиной. Я поворачивался слишком быстро и видел только темноту, камень, низкую тень верблюда. Каменный тоже слышал это. Он стоял с поднятой головой, не жевал и не ложился, хотя должен был устать.

Я сказал себе: ящерицы. Маленькие зверьки. Ночной ветер в трещинах.

Тогда я ещё мог выбирать объяснения.

Перед сном я вспомнил слова Мбалы: «Не отвечай, если услышишь голос из-под песка». Эта фраза показалась мне настолько театральной, что я почти рассердился. Суеверие, повторил я. Я был один в пустыне, а одиночество умеет выжимать из памяти самые ненужные слова.

Я лёг, положив револьвер под сложенную куртку вместо

подушки.

Не знаю, сколько проспал.

Проснулся я оттого, что кто-то позвал меня по имени.

— Стоун.

Голос был негромким. Мужской. Хриловатый. Он звучал не рядом и не далеко, а будто точно под тем местом, где лежала моя голова.

Я открыл глаза.

Звёзды висели над лицом. Огонь почти погас. Верблюд стоял неподвижно, с вытянутой шеей. Ветер стих.

— Стоун, — повторил голос.

Я не ответил.

Не потому, что поверил Мбале. Нет. Просто в первые секунды после сна человек ещё не успевает стать разумным. Он остаётся телом, а тело иногда мудрее рассудка.

Я сел очень медленно.

Песок вокруг лагеря был гладким. Слишком гладким. Мои следы, следы Каменного, круги от мешков — всё исчезло, будто кто-то за ночь выровнял землю ладонью. Только возле каменной плиты виднелась тонкая линия, уходящая под песок. Она изгибалась внутрь себя, едва заметная в слабом свете звёзд.

Спираль.

Я моргнул.

Линии не стало.

Я почти не спал до утра.

Второй день начался с головной боли.

Солнце поднялось из-за дальних камней без цвета и без милосердия. Оно не рождало день, а обнажало пустоту. Песок уже к раннему часу стал горячим настолько, что воздух над ним дрожал, как прозрачная ткань над огнём. Я выпил меньше, чем хотел. Записал направление. Проверил мешки. Один из них за ночь потерял немного воды: шов отсырел, и на коже выступило тёмное пятно.

Я выругался и перевязал его ремнём.

Каменный шёл хуже, чем накануне. Он часто останавливался, поворачивал голову назад, словно хотел вернуться, и несколько раз издавал низкий рваный звук, совсем не похожий на обычное верблюжье недовольство. Я бил его поводом не сильно, но достаточно, чтобы самому почувствовать стыд. Животное знало пустыню лучше меня. Возможно, оно уже понимало, куда я его веду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.